Александр Лайко

# Анапские строфы

Александр Лайко

# Анапские строфы

Начнем с конца, то есть с «Анапских строф». Разговор с умершей давно поэтессой на местном кладбище. Почти цитатой кончается он («и море Черное шумит не умолкая»), конечно же — «и с тяжким грохотом подходит к изголовью»...

Размышление о судьбах русской интеллигенции, почти пушкинская прозрачность и тональность — верно, точно, овеяно родной элегической грустью и мечтой о «раскаянной земле». Лирическая поэма — выношенная, взвешенная на тончайших весах.

Почему «строфы»? Видимо, потому что главное — то, как выстроено это размышление, то-есть ***интонация*** и тем самым — поэзия. Разноударная рифма в предпоследней строке делает эти строфы совершенно оригинальными, ведь такого рода опыты почти не проводились в отечественном стихосложении.

Тайная инженерия стиха выстраивает интонацию почти всюду в этом сборнике. Продвигаясь ближе к

его началу, мы видим в поэме о любви («Стихи в письме») ту же стройность и выстроенность, ясную авторскую речь, психологичность и романтику. Ничего из этого не сработало бы, если бы не оживляющее всё вдохновение. Истинное вдохновение присуще этой протяженной во времени книге стихов.

Собственно, вдохновение является темой и предметом большинства стихов также и первой части сборника. Такие совершенства, как «Лебедь», продолжая русскую традицию, говорят о поэте и поэзии языком чистого вдохновения. Как и «Преображение», и «Брошенная деревня». Мгновение в этих стихах замирает, останавливаясь, как по мановению волшебной палочки. Перед нами единство волшебства поэзии и жизни. То же самое — несколько раньше — в стихотворении «Мост». А в поэме «До востребования» поэзия концентрируется в двух сонетах — «Улыбка. Ухо. Волосы блестят...» и «Вещи». Здесь звучащая архитектура стиха легко и естественно выводит автора на эту совершеннейшую из форм.

Хотелось бы отметить экспрессивную романтическую струю в начале, в молодости — это наша российская балладность. Здесь автор примыкает к «лианозовской школе» — и географически, и биографически, хотя интонации «Спекторского» в нем проступают уже тогда, впоследствии преображаясь в повествование о том, как вдохновение преображает жизнь:

*Но с жизнью примиряет натюрморт.*
*Дрянцо-винцо в копеечном бокале,*
*нож, указующий на море, порт*
*вдруг, отразив светило, засверкали.*

*И спектр стекла на скатерти, металл,*
*отбросивший мерцающие пики —*
*неслышный праздник, вечный карнавал*
*в связи со светом, таинством великим.*

И далее — в чистый свет, поэзию, которая, как верно подметил Пушкин, «не имеет никакой цели кроме самой себя».

*Генрих Сапгир*

# I

## Мост

Случилось что-то за окном:
стояла ель, а стала сном.
Значенье сна я понял вдруг...
Туман, сгустившийся вокруг,
размыл поселок, перелесок;
луч фонаря наискосок
прошел мир влажный и белесый
и в смутных листьях изнемог...
Я понял: сон сей неспроста,
он должен был ко мне явиться —
здесь не способности провидца,
а жажда связи и моста.

И предо мною он восстал.
Его железная верста
в ушедшем времени плыла
и временем самим была.
Моста в росе дымились фермы,
как уходящие холмы,
и робко шаг я сделал первый
к ступеням, выплывшим из тьмы.
Увиделась вернее мне

постыдность стылого сиротства,
когда, как эхо первородства,
мост раскатился в тишине.

И город впереди синел.
В нем кто-то так по-русски пел,
что я прикинул перевод:
язык все тот же, да не тот.
В нем убегающая тайна,
в нем интонация вольна,
строка легка, как бы случайна,
а потому-то и верна;
и ворожба забытых слов,
романс цыганский и герани.
И ночь бела. В пустынной рани
стою я у Пяти углов.

Здесь до Коломенской — рукой...
Но не нарушу я покой
уснувшей заполночь родни.
Какие сны глядят они?
А скоро грянут перемены.
И потому заменены
мне от рожденья эти стены
московским бытом и иным.
Но их присутствие всегда
во мне, дарованное свыше,
и слышу, как волной колышет
и дышит невская вода.

Мост неспроста привел сюда.
Есть во вселенной города,
где голоса пыльцу хранит
гранит и просто общий вид
И песня, лишь коснулся камня,
по улицам ведет меня
и манит будущим недавним
в рассвете канувшего дня.

## Пиво-воды

В пивной, как вой,
клубятся мухи.
Бухой выходит головой.
Дерутся пьяные марухи,
и рухнул кто-то неживой.

В истоме отведенный локоть,
блаженства соловей в гортани,
пивец, напившись, будет плакать,
петь песни горечи и рвани.

Вот добродушие пивное
цветет на масляных щеках,
на лицах у других — иное:
тут — злость, там — пакость,
просто страх.

А этот — он поверх голов
летит над трапезой столов,
кричит:
— Равны,
сильны,
страны...
И рвет рубаху на груди.

Но сотрапезники не смотрят.

Он воет и орет:
— Гляди!

Но сотрапезники не смотрят.

Тот вспоминает неудачи,
изрывшие его чело,
и плачет зло,
и злобой платит
справляющим лихой балет,
гуляющим по кружке мухам,
которых давит на столе
и улыбается их мукам.

Из пенсионного бюджета
у старика торчит манжета.
Второй не видно.
Видно, нет.

— Да ты, старик, неисправим!
Эсер? Кадет?

— Мон шер ами, —
он тихо молвил, —
господа,
все так же мир неандертален,
хотя был Пушкин гениален
и Кеннеди хороший парень,
да и де Голль не так уж плох,
не говоря о том, что Блок
весьма изысканно лиричен
и поэтичен, и мистичен,
а также космос
и прогресс,
и райсовет,
и райсобес.

*1964*

## Иероним Босх

И возвышался пир обширный,
вступая в души и права —
убийство, острая жратва
и клевета, как угорь жирный,
поют «Ла-ла»,

А гвоздь стола —
интрига
наподобье сига.
Мотив ее — та-ра-ра-ра.

Подлог —
икра.
Она детячьими глазами
глядит, омочена слезами,
глядит доверчиво и прямо:
где едоки?
Рожает мама!

Идут,
едят,
и не случайно
в наростах мяса их носы.
А этот морщится печально —
что?
Уши —
кровяные груши,
кровавый пот
ползет в усы.

Косит на стол едок —
что хочется?
— Ура! — кричит,
жует и мочится.

Ура!
Веселым барабаном
оркестр стукнул облака,
и баба, развернув бока,
восходит медленно и пьяно.
Её, румяную от похоти,
подъял атлет,
худея в хохоте.

И закружился хоровод.
Бежит урод,
поет урод —
все улыбаются подряд:
один рогат,
а вот — клыкат,
а этот — краб,
клешней стрекочет
и приласкаться к бабе хочет.

Тот что-то плачет
и бормочет,
покрыт коростой,
чешет,
чешет,
и там, и тут,
и лоб,
и зад.

Носы растут.
И рты, и уши,
и уменьшаются
глаза.

•

*1965*

## Песня песка

*Генриху Сапгиру*

Куда побежкою труда
толпа, как листья, суетится?
Летит и скачет, и ложится —
куда?

И возникают города
в песок чтоб снова возвратиться.
Скажи мне, жизнь,
ты чем горда,
когда идешь походкой птицы?

Твоя ли песня высока?
Горька, как детская обида.
И зреет пуля у виска.
И песня
из песка.

Непоправимо то, что было,
былая кровь на миражах.
И люди спят на этажах,
и дети ходят ночью босиком,
скрипят ночным горшком.
Их мышцы мозга не сильны,
и потому чисты так взоры.
Весь мир для них —
стены узоры.

Что на душе у старика?
Пока он кашляет, пока
смеется тихо под окном...
Забыл себя и ждет кончины.

Жизнь, не проснувшись,
станет сном.
И в подворотнях пьют мужчины.

*1963*

## Останкино. 1946

Травой густопоросший двор,
полурассыпанный забор,
крапива и бузинный кустик,
и, воспевая захолустье,
звучит почти античный хор —

сонм жирных и недвижных мух,
и кот крадется, но петух
взлететь успеет, кукарекнув,
и от заката дом, ослепнув,
в сирени тонет — нем и глух.

Мешая отойти ко сну,
его пугают тишину
шаги недавнего солдата,
идущего с мехкомбината
варить картошку, ждать жену.

За ним и прочий здешний люд,
закончив на сегодня труд,
заходит в дом о двух крылечках,
о четырех голландских печках —
восьми семей живой уют.

*1975*

## Станция «Пески»

Как холодно на перекрестках!
В подъезде дуют сквозняки,
в пролеты сыплется известка,
в пролеты жизни и реки
Москвы
у станции «Пески».

Там липы ходят с барабаном,
тревожат пионерский сон.
Над геральдическим бараном
кумач на мачту вознесен.

В прохладной церковке — обеды,
послевоенные супы
и дети тихие Победы,
перловой едоки крупы.
От металлической тарелки
дрожит на своде слабый блик,
где, проступая сквозь побелки,
апостольский склонился лик.

Что мне рассказывал апостол
среди акаций и оград?
Сейчас припомнить все непросто —
про жизнь и смерть, и Сталинград.
Он словно бы сходил со свода,
в побелке, а скорей в пыли,
ждал терпеливо и поодаль
держал в культяшках костыли.

И очень медленно, достойно
ел принесенный мною хлеб,
и на реку глядел покойно,
как на течение судеб.

*1970*

## Живой покойник

Покойник прям и ироничен.
А профиль жалостливо птичен,
и руки — пара белых фраз,
напоминающих мороз.
Галош гора — апофеоз.
И рабьи слезы,
бред любви,
униженное обожанье...
Коней испуганное ржанье
и страх державы на крови.

А сослуживцы,
как цветы —
Иван-да-Марья, Иван-чай —
к земле склонясь, шептали:
— Ты
прими его и укачай.
В глазах — азарт,
от горя — горб.
Давя себе на диафрагмы,
они оплакивают гроб
и на покойника косятся —
не встал он как бы.

Он встал.
Стряхнул венки и ленты
и крикнул:

— Ты и ты,
на... права!
И стонет радость:
— Слава!
— Авва!
Веселье выше лба и сил.
Но вдруг упало,
тихо стало —
покойник пальцем погрозил.

Живой покойник бродит где-то,
он жив, он с нами и надолго,
и музыка его не смолкла
в желудке маленькой планеты.

Его соратник — мертвой рати,
брат по удушенным собратьям —
случайно жив, плешив и тощ,
товарищ по фамилии Борщ,
в слезах, заслугах и проклятьях —
то сон ли, явь? —
восстал в кровати:
— Господь, на свете я каком?

Живой покойник — паль-чи-ком!

*1964*

## Весенний самоубийца

Шагнул в проем голубизны,
не задевая о косяк —
ему не страшно и пустяк,
и наконец-то крик весны —
стрижа ли, воробья в истоме...
Кто после нас родится в доме?
Кто прежде чем увидеть сны,
лицом к стене оборотясь,
в обоях обнаружит — язь
и конь с икон,
а вон — Джульетта.
Но вонь... Греми, труба клозета!
Воспой российский мордобой,
печальный и холодный дом.
Летит душа, как самолет над городом,
мерцает лампой голубой.
Где обретет она покой?
Что в прошлом помнится ей быте?
Как длинношее беззащитен,
подняв с прожилками ладони,
пустился за дождем в погоню
белесый мальчик голенастый,
губами разрывая нити
и капли слизывая часто.
В судьбу свою проникший рано
и удивленно прозревая,
он слышит — словно речь живая —

звучит, звенит в его гортани
кристаллом капля дождевая
и чистой гранью сердце ранит.
Или как жил, клейменный словом,
чужак, не свой, дурак, изгой,
как сломанным тузом бубновым
затих на грязной мостовой...

*1965*

## Алкоголь

Ты поворачиваешь око —
бурун,
баран,
барак,
барокко.

Полеты птиц — покой природы.
Но вот у деятельных лиц,
как лампы, вспыхивают морды.
— Уби...! Убийц...! Милиц...
онера!
— А девка прямо сущая Венера!
— А кто ее?
Сверкает блиц.
И дуло — глаз пенсионера.

Премьера! —
кукиш за спиной.
Но, впечатляя, остро ранит.
Негодованье в ресторане
кончается слезой в пивной.
— До гения еще бы малость...
— Случалось...
...чалось...
...алось...
...лось...

— Он помер.
— Да я сильно глух.
— ...лучалось...
...чалось...
...алось...

— Жалость,
большой талант — ан и потух.

Устраивают кошки спевки
с душою убиенной девки.
Сев полукругом за трубой,
свирель меняют на гобой:
— Ах, тело было ей дано,
поэту стало аналоем,
красивое... А где оно?
Теперь печальное говно —
его зовут культурным слоем.

Младенчески-предсмертным воем
клубятся кошки, исчезая,
и только лишь луна большая,
и ты, свое вращая око —
бурун,
баран,
барак,
барокко.

*1964*

* * *

Вот связь времен
иль что-то вроде,
и неразгаданное мной:
безумье Батюшкова бродит
меж горсоветом и пивной.
Ах, Вологда, да холода
в осенней редкости прохожих...
И показалось мне тогда —
не ты ли, Вожега, тревожишь?
И разговор двух зеков бывших,
свое отбывших, чуть подпивших
среди остывших макарон:
про то да се,
и Кальдерон,
и обо всем, и ни о чем...

И Вожега здесь ни при чем,
и так туманно и случайно
виденье вожегодской чайной...
Так что же, Вожега, тогда?
И молчаливо Вологда
свои вздымает купола
в безлюдье площади и парка.
В бидоны — бьет в колокола —
телега с пьяною дояркой.
— Провинция, прости Москву! —
так тихий дождь кропит осину.
Ты спрашиваешь, как живу
и понимаю я насилу
смысл разговора твоего —
истмат... вчера... И торжество —
экзамен сдан.
— Кум королю, —
ты говоришь, —
билет куплю,
поеду в Ялту или в Венгрию.
Я в Вологде еще стою,
хотя с тобою пью в шашлычной,
на этикетке — вид столичный,
в окне опять же вид столичный,
обслуживают нас обычно:
официантки офицерам
вино сейчас же подают,
всем прочим и пенсионерам
вино попозже подают.

Официантка!
Есть у Данте
мотивы бледнолицей донны;
затянута в корсет канцоны,
она становится Мадонной.
Официантка, хочешь тонну
стихов красивых, как майор?
Официантка глаз скосила,
скосила, словно бы спросила:
— Зачем, товарищ, ваш укор?

*1964*

## Восток

О чем гадаешь, звездочет?
О чем ты — нечет или чет,
монету на ладони кинув,
во Млечный путь глаза водвинув —
о чем слеза твоя течет?

— Гляди, пожар в сердцах зачат,
кочует в звездах азиат.

Огонь гремит в прямые трубы,
раскинув руки в небеса,
и улюлюкает:
— Мне любо

степей обуглить телеса!

Пожар стеблей
и тонких шей
с глазами русыми детей,
камней пожар,
песка пожар...
Светило —
бледногубый шар —
танцует медленно в дыму
и морщит лоб, как тугодум.

Табун
тоски —
летящий остров.
Его пронзают языки.
Табун тоски —
ревущий остров —
с огнем играет взапуски.

Косит вожак белком безумным,
улавливая слухом дымным
предсмертный ропот табуна.
Звенит аорта, как струна,
летит оскал, кроваво пенясь —
словно корабль
накренясь,
мир оставляет скакуна.

А кони стали в круг, дрожа,
на спины головы друг другу положа.

И протянул пожар им руки,
и время двинуло пески.
Посланцы азиатской скуки
летят — крылаты и легки.
Сжав острой лапой лоб лошажий,
один из них — и вор, и вран —
трещa крылом, на кости кажет:
— Якши, Тамерлан!

*1963*

## Дочь колдуна

А кто она?
А кто она?
О ней все в сказках сказано,
свирелкою пропето —
она хозяйка лета
и дочка колдуна.

Да вот он —
с дудкою в руках
идет в солдатских сапогах,
дудит в дуду,

свистит в сапог:
— Я леса Бог!
И чешет бок.

Он озабочен и не строг,
и хорошо встречает,
и водкой угощает.
Нетвердо выйдя за порог,
вина еще отыщет.
— Кто сделал дочку нищей?
Ее сума — ее судьба.
Сама, сама,
сойдя с ума,
желала быть, как все.
И звал он дочь.
Всю ночь рыдал
на скошенном овсе.
А по утру дудел в дуду,
свою высвистывал беду.
— Ах, дочка, глянь — сычи да каты
в твоих застряли волосах
и смеха сытые раскаты,
восторги — «Ох!», салюты «Ах!»,
и представитель мужьей роты
с бычачьей тягостью в глазах.

Очнись, хозяйка, уходи,
верни кольцо дурмана.
Опять скажи:

— Нам по пути,
моя ладонь — поляна.

*1965*

* * *

Тебе пишу.
Что боле?
Болен.
Температурою дышу.
Настой измены алкоголен,
а ты чиста —
до колоколен.
Чиста.
Пожалуйста.
Пожа...
Чиста.
Честна,
сама,
свободна.
Ну да, конечно,
сумасбродна...

*1970*

## Больница

От всех широт,
со всех карнизов
к тебе рванулись
сизари.
Один из царственных капризов —
и вот послушно
сизари
слетелись в белую палату,
где белой болью ты распята,
где ходят в белом лекари.

Нахохлился,
стучится клювом —
очнись! — в озябший твой висок
самец, сияющий отливом
стучится в душу и висок.

Твои растерянные пальцы
не могут птицу приласкать,
твои глаза — два постояльца —
ушли без памяти шататься,
тебя прошедшую отыскивать.

Стучит крылом, шуршит пером —
сизарь идет за доктором.
— Спасите девочку, спасите!

Она умеет дивно петь.
Не верите?
Меня спросите
и прекратите эту смерть.

Но доктор, веря в медицину,
совсем не верит в чудеса.
Он шприц несет с аминазином,
он так начитан и усат.
— В палате птицы?
Не годится.
Больная! Шприц —
пожалте бриться.
Вот и готово. Ламцадрица!
В палате птицы?
Ну дела...

— Зачем нас кликала, царица?
— Зачем, хозяйка, позвала?
Ты шепотом,
а стон — в зените:
— Я просто так! Вы извините!

*1965*

## Хорал

*Юрию Мамлееву*

Кто вы, убитые во чреве?
Вы, лакомство червя́,
которым не хватило места,
которым не хватило метра
жилплощади Земли?

Вдали
восходит хоровод
печально тихих недоносков.
Они поют:
— Аборт, аборт...
И улыбаются несносно.

Растет незримая гора
отбросов перепроизводства.
Гора любовию речется,
гора восходит, как хорал.
Но это мясо непригодно
для лепки ангельского лика.
Проснулась мама
непричесанная
в ночи от собственного крика.

К окну приклеились гурьбой
уродцы, топоча по жести.

Один большой,
другой с трубой,
а третий захихикал:
— Здрасти,
нам очень скучно без тебя,
жить без тебя, любя тебя.
Ах, мама милая, все тлен.
И мама дернулась в петле.

— Кто вы, убитые собой? —
спросил урод с трубой.

*1964*

## Открытка

*Ю. М.*

Раб государственный — рабу своей судьбы —
зашел на Кировской тебе черкнуть открытку...
Что как... и что зачем... вот если бы кабы...
Я расстояние переношу, как пытку.

С тех пор, как отчинили нам калитку,
и с Южинского вдаль направил ты стопы,
на станции Дзержинского сменили плитку,
а на Колхозной перекрасили столбы.

Столица хорошеет, но пустеет. Слова
бывает некому сказать. Неужто снова,
и значит никогда, по Чистым покружив,

спустившись к Трубной, у ларька пивного
не встречу я тебя? Ну как там vita nova?
Здесь все по-старому и я как будто жив.

*1978*

* * *

Ах, фразы глупого письма!
Вы обросли моей судьбою.
Все сразу ринулось гурьбою:
твой почерк, поле, пыль — с ума
сойти!
И по грибы потом пойти.

Сентябрь около Рязани
осенней грустью тихо занят
в своем полупустом лесу.
И лось
с рогами навесу
стоит и смотрит на поляне.
И можно брать еще грибы,
и лыком отдает корзина,
и пусть не с верхом, половина —

так что ж, пожарю и опять
ищу колонии опят.
А город?
Как-то там у вас
Парнас
и прочая перцовка?
А здесь другая дозировка —
стакан парного молока,
корзину в руки и — пока!
Иди хоть на свиданье с лосем.

А впрочем, ну его совсем,
и я ему неинтересен,
хотя я знаю много песен,
и пополняется сума.
Ах, фразы глупого письма!

А тонкобедрая осина —
цыганка, бубен, бубенцы.
Ты конопата и красива.
И ты, и дождь, и Бронницы.
Какой нас бред туда погнал?
Что электричка обещала?
И о тебе шумел вокзал,
и помню лодки у причала,
и бесконечный товарняк...
И ты кричишь в тугой сквозняк:
— Знаешь, я провинциалка —
суздалянка, суздальчанка? —

Я не знаю как...
С детства нелады с письмом!
Я это слышу за письмом,
где буквы ходят, спотыкаясь,
а строки: «Ах, какая жалость,
случилась глупость, вышла замуж,
но пусть тебя не гложет зависть...
Я так ждала, да вышел срок...» —
бегут с листа наискосок.

*1964*

## Пирог прогресса

Пирог вишнево пялит око
и патокой течет в осоку,
и хочет ртов, восторгов —
соком
он истекает и аукает.

Земля пропитана насквозь.
Под плугом обнажится кость.
По ней
восстанови насилье —
мотор прогресса наших орд.
И каждый — заступом в Бастилью,
лишь стоит выйти в огород.

По кости — славу и всесилье
времен и вех.
По ветру прах.
Вставай, Петрище!
Разом тыщи
на верфях уложи костей
и улыбнись — большой и дикий.

Иди, иди,
Дикарь Великий,
к нам в кровь
и в сказки для детей.

*1964*

## Переложение псалма

Что сделал я?
Я посягнул на песнь.
Гнию
среди гнилья,
вдыхая плесень.

И плоть моя пуста,
и в язвах чресла,
и струпья — как с куста кора
болящая
повисла.

Нет места здравого на теле.
И еле я хожу, и еле
я вижу свет.
И нет друзей.

От ран моих смердящих
они ушли.
Гляжу на них — вдали стоящих —
то ближние мои
стоят вдали.

От злобы, как у псов,
трясутся спины.
И выбелены лбы и веки.
Я знаю, ваша ненависть безвинна,
зверье мое,
родные человеки.

Враги же веселы —
гремят кимвалы.
Им надобно хвалы,
убийства — мало.

Косноязычье, немота.
И скорбь, и мрак.
Я — только суета.
Пусть так.

Ты призовешь на суд,
и что отвечу я?
Я — песенный сосуд,
но песнь
Твоя.

*1967*

## Окно

Поэзия во всем. Не так ли?
И написать хочу я капли
и дымку давнего дождя,
и дом в Останкине, где я
родился, жил, смотрел в окно —
война еще не начиналась —
и ветка с каплями покачивалась
вчера или давным-давно.

Покачивались листья, лица...
Вот в капле женщина искрится
улыбкой, бледной добротой.
— Малыш, все тут стоишь? Ну стой!
— Иди! — мне руки подает
в окно открытое другая. —
Что? Дождь? Ах, чепуха какая!
А это их последний год.

Я много лет спустя, по письмам,
свободным поражался мыслям
той, что улыбчиво бледна.
Простясь со сценою, она
шинель неловко надевала
и под пилотку кудри прятала —
себе и выбору верна.

А та, что руки подавала,
бывала в нашем доме мало.
Поездки к мужу, дочь при ней.
Лишь позже стало все ясней.
Так вот она в блокадной мгле,
слабея, хлеб совала дочке,
но дочь не приняла отсрочки,
и хлеб был найден на столе.

А за моей спиною гости
галдят и произносят тосты,
заводит кто-то патефон,
танцуют танго, вальс-бостон...
В чью честь такое торжество?
Сейчас никто не объяснит.
Нет никого, кто день тот помнит,
как будто не было его.

Поэзия во всем. Не так ли?
Представьте: дождик тихо каплет,
я битый час торчу в окне

с дождливой веткой наравне,
и тает монпансье во рту.
И я смотрю, смотрю на них —
живых, веселых, молодых —
смеются женщины в саду.

Давно ушли все эти люди.
Их нет. И никогда не будет.
И я не в силах объяснить
ни жизнь, ни смерть. И только нить
воспоминаний мне дана,
она поэзией зовется,
и все же вряд ли ей искупятся
их судьбы, мир... Мир и война.

*1976*

## Цвет белый

В дурмане белом, сне ли белом —
черемуха. Наркоз. Букет.
Плывут ее соцветий стрелы,
для белизны предела нет.
Она клубится белой вазой,
салфеткой, облаком, стеной,
горячкой, родовой проказой
и стынет белой тишиной.
Сгустившись до исчезновенья,

растаявши до густоты,
воспроизводит на мгновенье
ушедших слабые черты.

Чьи лица стерты белым снегом?
И чей пурга своим пробегом
из дальней дали и забвенья
доносит шепот? Или пенье?
Чьи лица белые на белом
слежу я взглядом оробелым?

Я никого не узнаю́.
Я никого из них не знаю.
И в белом мареве стою,
и книгу белую листаю.
И в ней стараюсь прочитать,
что бывшее небывшим стало,
что справка справна и печать,
и страха нет в дверях вокзала.

*1975*

## Артистка

Гастроль испуганной певички
в Перми заборами пестрит.
К певичке подберет отмычки
провинциальный индивид.

Он зам. Зампредпотребсоюза.
Икрою ужин умастит,
и тайну скорого союза
сережками позолотит.

Она — стареющий подросток.
Оживлена. Увлечена
приятным вечером. И просто
приятно, если не одна.

Ее любили, словно били —
администратор, педагог,
по совместительству пожарник,
поставить «до» так и не смог;
скрипач ей преподал урок,
а скрипача сменил ударник.

Со знаньем дела и по-свойски
прикончив судака по-польски,
зампред беседует по-светски,
хотя в лице его — угрюмость.
Отпив шампанского глоток,
она припоминает юность —
каток, снежок,
ледок искрится...
И музыка. И вот тогда
она решила стать певицей
и не жалела никогда.

— А в Ленинграде, вы поверьте,
мы встретились в одном концерте,
и руку мне пожал Муслим.
Ах, Магомаев! Обожаю!
— И я маслины уважаю.
Ну что же, можно и маслин.

Поднявшись утром раньше зама,
спеша в концерт очередной,
спросила весело и прямо:
— Вам скучно не было со мной?
Он промолчал. Слегка смущен:
унижен он или польщен?

А вечером смотрел на сцену,
косился в полутемный зал,
и объяснить не мог подмену —
он женщину не узнавал.

А та шекспировские страсти
в дурацкой песне рвет в клочки,
и столько веры, столько счастья
во взмахе маленькой руки.

*1981*

## Душа

*С. Гринбергу*

Когда душа со мной прощалась,
беззвучно плакала она.
Мне принесли друзья вина,
когда душа со мной прощалась.
А я смотрел в проем окна,
и в нем столица помещалась.
Когда со мной душа прощалась,
буззвучно плакала она.

Ах, женский плач! Невыносимо.
Я по натуре мягкосерд.
По телу полон, мастью сед.
А вот мой друг похож на мима.
Но строг, в очках, велеречив:
— Пойми, необходим разрыв, —
он говорил, — все объяснимо:

есть быт — критичности порог.
С душой своей ты не критичен.
Ты нашим веком ограничен,
с душой в нем душно, видит Бог.
А, впрочем, можешь с ней остаться,
коль трудно с ней тебе расстаться.
Я говорил вам — друг мой строг.

Мой строгий друг открыл вино.
Второй смотрел на свет стаканы,
насвистывая непрестанно.
Мой строгий друг открыл вино.
Он так серьезен, что смешно,
но я вышучивать не стану.
Мой строгий друг открыл вино,
второй смотрел на свет стаканы.

*1978*

## Зимнее утро

Москва. И снег, и кутерьма,
сурьма антенн, воронья тьма,
дома повиты белым сном,
и утро белое на белом
своим крылом заиндевелым
маячит за моим окном
и превращается в буревестника,
призывающего, помнится, бурю.

Что ж, с романтизмом я знаком,
и шалости его, и бредни
висят, как старый плащ, в передней.
Критически реален душ —
соседка хоркает счастливо,
и соцреален, и к тому ж

орет клозет бачком для слива
воды ли, крови —
в современных синонимах
черт ногу сломит.

С похмелья скучно и тоскливо.
И взгляда полусонный ход
отметил некие извивы
на скатерти — проливы пива;
стул, чайник, чашка — обиход
типичный и потому
для пеана хвалебного малоинтересный.

Но вот нежданный поворот
то ль зрения, а может утра —
то заиграл рожок как будто —
игольчатость и краткость нот.
То ли кристалл ничтожно малый
вдруг от граната до опала
в заснеженной голубизне
луч солнца отразил в окне...
Этрусской вазой чашка стала,
а чайник — постулатом чань,
и тень промелькнула
идущего под зонтом Ду Фу либо Ли Бо.

Москва и снег. В такую рань
кто перепутал реквизит
и век? И вечностью сквозит.

Тростник звучит, вздыхают травы.
Крамолой тихою несмело
крадется мысль: «Не все сгорело,
не все погибло от потравы...»
Как утешительно: есть травы,
а сегодня снег, вороны
и вообще хорошая погода.

*1979*

* * *

Тщеты своей улыбчивый оскал
мне мир преподавал самозабвенно —
то в бешенстве Кавказом он сверкал,
то в прачечной стихал водою пенной.

Он удивлял, пьянил, ворожбовал,
пытал своею красотою тленной...
Я горечь совершенства узнавал
как некое присутствие — мгновенно:

смерть — равный гость на пире бытия.
Что так печальна, смертынька моя?
Неужто наша встреча огорчила?

Ну хочешь, я спою, твою врачуя боль,
а ты играй назначенную роль
во всем что есть, что будет или было.

*1975*

## Любовь

Я ждал, я предугадывал тебя.
Наверно так слепые от рожденья
на свет идут, открыв ладони и скорбя.
О, лепет пальцев —
бег прикосновенья!

Пустыни тьмы, как сны без снов,
на ощупь мир — бездарная скульптура,
скрипит каркас его основ —
без музыки клавиатура.

Какая мука — где-то свет —
знать это и не знать прозренья
и день, и год, и много лет...
О, лепет пальцев —
бег прикосновенья!

*1975*

## Снег

В переулочной тиши
удобно очень стариться.
Снег идет, бежит и валится,
и в душе нет ни души.

Выйду, сон сотру со лба.
Тихо в мире и безветренно.
Снег большой летает медленно
у фонарного столба.

Ах, снежинки ломкий бег,
зимней бабочки круженье! —
смерти легкое движенье,
созидающее снег.

И смотрю — в который раз.
Все же это представленье
вызывает удивленье,
останавливает глаз. *1969*

* * *

Мне этот мир преподает урок
в той части, называемой Россией,
где бред истории особенно мне дорог —
Иван был Грозным, Темным был Василий.

Слагается, латается закон,
как только сложат, им же и приложат,
и плащ — куда как тонок! — ненадежный кокон,
и страх шуршит, и леденеет кожа.

Недаром Рим как центр всея земли
прозрел клиент спецпсихбольниц Чедаев —
то ль подлечить его втихую не сумели,
то ль просто было меньше негодяев.

А третий Рим утратил свой приход
задолго до того как храмы поскосили —
менялся на мундире цвет лампас и ворот,
Иван стал грозным, темным стал Василий.

Плащек сквозит, охранных грамот нет,
и запросто любого здесь похерить —
здесь воздух одичал, окрест горелым тянет,
и впрямь — в Россию можно только верить.

Одна лафа — строиться за пивной.
С Василием нас двое, третий Ваня,
и водки долбанет душа в столице душной
и повторит, коль дозы недостанет.

Как в лицах современников темно!
Шу-шу. И ни гу-гу. Кого пришили?
Кого? Зачем? Когда? Давно или недавно?
Василия Иван? Ивана ли Василий?

*1978*

## Брошенная деревня

Испуг рождала тишина
средь разнотравья, зноя, лета...
Во сне так, убегая сна,
еще не знаешь, явь ли это —
звезда падучая, комета
пересекает небосвод:
чужая жизнь, прервавшись где-то,
тебе покоя не дает.

Но это явь: изба, стена,
смола, светилом разогрета;
черны глазницы — два окна,
подкова на двери — примета
удачи, но другая мета

мрачила здесь за родом род —
народ, отпавший от Завета,
тебе покоя не дает.

Беда больней обнажена
в лучах полуденного света —
деревня мертвая страшна —
чугун, костыль, рядно, газета,
а там, над крышей сельсовета
флаг, осеняющий исход...
И кукла с вышивкою «Света»
тебе покоя не дает.

И ни ответа, ни привета,
лишь тройки бешеный разлет —
созданье мрачного поэта —
тебе покоя не дает.

*1982*

* * *

Я удостоен был вниманья палача.
Он бросился ко мне, хрипя и плача,
под мышкою пустую кружку пряча,
по автомату денежкой стуча.

Глаз голубых поднявшаяся муть
в слова переливалась торопливо —
он жаловался длинно и тоскливо,
бия себя весьма картинно в грудь.

Старик — испит, потрепан и небрит —
своею не гордился одиссеей,
и, повествуя, был скорей рассеян,
а я им приглашался как арбитр.

Он говорил, придвинувшись ко мне,
как полк родной пришлось оставить конный,
мол, вышло предписание — законы
обслуживать ему, печалясь о коне;

Как средь пускаемой на небеса толпы,
случалось плакали или кричали —
оно, конечно, действует вначале —
но хорошо себя вели попы.

Нет, нет, сочувствия не ищет он,
и сострадания ему не надо —
все честь по чести — грамоты, награды,
но оскорбляет малый пенсион.

— Писать бумаги, знаешь — не стрелять,
ан в лектора́ наш писарь вышел.
А ротный — так бери повыше —
проффессорр!.. Мать его валять!

— Не возражаете? — забрав мой бутерброд,
он двинулся за новой дозой,
а мне почудилось, что пью я слезы,
и влага мертвечиной отдает.

Но что это? О рифме кольцевой
я слышу разговор, об эвфонии...
Юна беседа юных. Сохрани их,
легко ведь может статься, Боже мой,

когда мужания придет пора,
вот эти — так восторженно безусы —
оставят эвфонию, кончат курсы
и выбьются, глядишь, в профессора!

*1979*

## Рождественская ночь

Там человек лежит — и в красной крови
его лицо воздетое к неону.
Фонарь стоит, как свечка в изголовье,
глядит, давая свет сугробу, дому — фону,
так равнодушно, точно медсестрица,
когда меня вбирала райбольница.

Его убили? Здесь, у зоосада,
должно быть, драка пьяная гудела,

но, может быть, сражалась баррикада —
здесь Пресня — и тогда совсем другое дело.
Кто он? Студент, недоучивший право?
Солдат? Рабочий? Я не знаю, право,

кто там лежит на улице пустынной,
воздев кровавое лицо к неону,
но вижу, как из-под полы овчинной,
по снегу поползла рука... И тут же стону
ответила рождественская темень
стенаньем Роженицы в Вифлееме.

Увидел я искусанные губы,
глаза Ее, запавшие в глазницы,
звезду над Иудеей, и на убыль
ночь, посветлев, над спящею пошла столицей.
И мне б уснуть, добравшись до берлоги,
да непослушливы сегодня ноги.

Я радость Рождества в знакомом доме
с московской разливанностью отметил.
И водки выкушал, и водки кроме
едва ль что помню... спор... и что-то я ответил...
И вот, имея быть в таком раскладе,
не померещился ли этот дядя?

Да нет, лежит на улице пустынной
и не убит, а жив — хрипит и стонет,
и глаз его вращается совиный,

как бы в аквариуме плавает в неоне
и просит помощи или пощады,
и благо — будка телефона рядом.

Я двинулся нетвердо к автомату,
и в снежном ветре, в шелесте поземки
услышал слов спешащие раскаты,
хотя сам голос Роженицы был негромкий:
— Повремени. Пусть ветр чело остудит.
Благословением тебе — да будет —

БЕГИ! Не мешкая, что сил достанет.
Вон арка и — дворами проходными,
проулками, заставами, мостами —
беги во имя Сына и Меня во имя!
Но вызвав «скорую», курю в кабине,
О Рожени́це думаю, о Сыне...

Замельтешили фары в снегопаде,
машина тормозит, летит дугою...
Но что это? Откуда силы в дяде?
Он встал, указывая на меня рукою,
стер со щеки вино иль пятна грима
и прочь засеменил походкой мима.

Они идут. Я слышу тихий говор.
Их двое. Третий из машины вышел.
Стал, как бы оглядывая город...
Они не на меня глядят, куда-то выше,

так равнодушно, точно медсестрица,
когда меня вбирала райбольница.

*1983*

## Официантка общепита

Она парит в парах похлебок,
она летит а ля Шагал,
и ноги брызжут из-под юбок,
пол стонет в такт ее шагам.

Майоль ваял ее Помоной,
отъяв тарелки с гуляшом,
отбросив фартучек зеленый,
и совершенно нагишом.

Кустодиев плеча и пястья
мизинчик томный утолстит,
напишет самовар и счастье,
кота и ямочки ланит.

А Рубенс так ее напишет:
сред куропаток и спаржи́,
вина янтарного и вишен
вальяжно дышит и лежит.

Она сработана на славу,

Цирцея отроческих снов,
и всласть справляет с ней забаву
лихой райвоенком Брунов.

*1981*

## Преображение

*В таверне отворились с шумом двери...*
Из песенок детства

В таверне суета и шум, и гам,
обслуги безразличие и хамство,
и пальмы в пыльных кадках по углам
венчают это злачное пространство.

Но с жизнью примиряет натюрморт.
Дрянцо-винцо в копеечном бокале,
нож, указующий на море, порт
вдруг, отразив светило, засверкали.

И спектр стекла на скатерти, металл,
отбросивший мерцающие пики —
неслышный праздник, вечный карнавал
в связи со светом, таинством великим.

И мальчик снова двери отворит,
в стеклянной ручке солнце заискрится,

с ним кто-то, наклонившись, говорит,
в саду свистит неведомая птица.

Он, улыбаясь, бесконечно рад
гостям, родным... А те шумят, смеются —
все живы, и открыты окна в сад,
и зелень бликами лежит на блюдце.

*1982*

## Стихи зимой в восьмидесятом

*Юрию Карабчиевскому*

Скажи, кто в Теплом стане княжит,
кто держит постоялый двор?
Пуржит, знобит, многоэтажит —
по жизнь идет-гудет побор.

С утра прошелестят газеты,
и снега с ветром разговор,
с утра дурак бежит раздетый
трусцой, а то во весь опор.

Сквозь рощу «Узкое» просветит,
взметнет, подъявши купола,

и Трубецкой в герои метит,
и санаторные дела.

Ой, ты скажи, скажи, ЦЕКУБУ,
за жисть оборвыша-щегла,
как харчевала и цикуту
в букетик смертный собрала.

О чем грустит у въезда арка,
восщелканная соловьем? —
он здесь бродил аллеей парка
и пел его и водоем.

И в проруби чернилит влага,
достанет на ученый том,
о том, как в перья, в пух, живаго,
поэта гнали в гроб гуртом.

Чья очередь подбита сметой,
скажи, печальная страна,
какою горестною метой
твоя звезда омрачена?

Взошед над стылым редколесьем,
как недреманный глаз, она
стоит по городам и весям,
в углу морозного окна.

*1980*

## Лебедь

Сначала это белое пятно
сетчатке чуждо и определенью,
но медлит взгляд, свет чередуя с тенью,
и птицей дремлющей становится оно.

Взгляд делает вполне доступной вам
грань темную меж телом и волною,
где облако, плывущее по зною,
по отраженным заплясало деревам.

Тень лебедя и ярче, и мощней
мерцающего облака и веток,
вобравшая весь летний сонм расцветок,
но беломраморность преобладает в ней.

Едва ли вам видны смещенья масс
воды и пробудившегося тела,
но вот — высóко голова взлетела,
пронзительно горит ее змеиный глаз.

И лебедь разрывает зелень вод,
как будто рвет земное притяженье,
но нет еще полета, есть движенье,
где, словно в коконе, и заключен полет.

И телу так неловко-тяжело,
так неуклюжи первые усилья —

как мокрое белье хлопочут крылья,
но шею хищную спрямило и свело.

Густеет синий воздух у крыла,
дает необходимую опору
паренью по свободному простору,
и кажется — душа свободу обрела.

*1980*

## Тост

**К портрету Л. В. Никитиной**
**кисти Н. П. Богданова-Бельского**

Всё женщины... Я поминаю дам.
Не говорю «Прекрасных»... Как-то вам
в погостах ленинградских спится,
на кладбищах Парижа, Рима, Ниццы
и по сибирским ямам и углам?

Я пью за вас, блистательные тени,
за вальс, за ваши руки и колени,
и гордость длинношеих лебедей,
за ту осанку вольную людей,
которая не подлежит подмене.

Вы были несравненны, видит Бог.
Когда взводился равенства курок,

вы не равнялись — присно и вовеки —
любой пустяк, корсетный ваш снурок,
для равенства тяжеле Каабы Мекки.

Живущий неравним. Лишь неживые
в эпохи смутные и ножевые —
суть равенство и чистота доктрин.
Что вам пенять за хрупкость ваших спин,
когда мужицкие хрустели выи.

Живущий неравним. И потому мертвы,
вы — воздух, мотыльки Пальмиры, вы,
загинувшие в ней, в чужих столицах,
и отзвук ваших лиц напрасно в лицах
лимитно-вырожденческой Москвы

или провинции Петрова града
отыскивать сегодня... И не надо,
и что там говорить... Я поминаю дам,
я поднимаю горестный «Агдам»
за смех ваш и улыбку, мех наряда,

за сентимент и томность взгляда вдаль,
за гарус, парус, шляпку и вуаль,
слезу, сбежавшую на книгу, вздохи,
когда шарманщик вам хрипел «Трансвааль»,
прозрев насильственный финал эпохи.

*1983*

## Вслед мотыльку

Что, однодневный, слабый мотылек,
фигуры эти хрупкого круженья,
жизнь, сжатая до легкого мгновенья —
пробег листвы, сухих стеблей кивок?
Подумать — он и я — один исток.
Он мреет над травой примятой,
где танцем тем же мы распяты,
а день и век, и миг — всего лишь срок.

Что, однодневка, девочка моя,
следишь тревожно за игрой полета?
Должно быть, и от наших судеб что-то
есть в той пыльце летящей бытия.
В какие он спешит края
едва заметным сгустком плоти?
Что зашифровано в его полете?
Нет связи абонентов «он» и «я»!

Что значит этот ломкий бег,
ничтожного крыла паренье?
Молитва радости? Благодаренье
за день, исполненный труда и нег?
Куда прибьет кровавый наш ковчег?

Ведь кажется, еще одно усилье —
вслед мотыльку меня поднимут крылья,
и я тебе отвечу, человек.

*1985*

# II

## До востребования

### Стихи в письме

Иола, как ты спишь? Как голова?
С кем спишь — не суть. Прошла ли печень?
А я, признаться, чувствую не очень.
Из рук вон. И не клеятся слова.

Ночами ничего. Как к черту в ступу
провалишься — ну и разбудит гимн.
Вот вечерами, с двойником твоим,
мне хлопотно. И в общем глупо —

сидит напротив, ест, когда я ем.
Читаю — глядь, и он читает.
Но руку протяну — растает.
Кто сделал это, лорды? И зачем?

Иола, ты по фразе из «Макбéта»
не выведи: сошел с ума.
Влетел эпиграф в эту часть письма.
И пусть его. И мне на это...

Грусть гнезда вьет под потолком.
Чернеет воронье в дворовых липах.

Почти что в фортепьянных всхлипах,
в их криках, расстоянья ком.

И ревность бьет куда-то ниже
и пояса, и... Господи, уволь!
Ревнивца незавидна роль,
и доблесть переспать в Париже.

В отеле «Хилтон» галльская луна
щекочет лучиком тебя за ушком...
Напиться б с горя! Где же кружка?
Стакан отыщется, да нет вина.

А пить? Во здравие? За упокой?
Хотя покой какой? Живой же.
Из Франции тебя ждет некто в Польше.
Дрожь не унять ни водкой, ни строкой.

От этой дрожи звякает посуда,
землей трясется матушка-Москва.
«Иди к врачу!» Ты, как всегда, права.
Ах, голосок, звучащий ниоткуда!

Ты бардзо культуральна. И клистир —
деталь геральдики твоей, Иола.
Что? Грубо? Скальпель? Склянку иода?
Что рядом с овном в герб внести?

А, может, жолнежа? Что твой зуав?

Как пóляку азийская природа?
А на дворе хорошая погода!
Я в нелюбви к врачам не прав.

К кому отправиться? Вот в чем вопрос.
Довериться какому Фройду?
У нас они такие пройды,
а их лекарства — мент и психовоз.

Еще расспросы — кто ты и откуда,
с кем жил да был и с кем знаком.
Что шьется? — маешься потом —
любовь, политика или простуда?

О чем то бишь? Так вот, о двойнике.
Иола, я вас путаю порою,
и, кажется, беседую с тобою,
а он — двойник — в парижском далеке.

Два профиля — как змеи ли, камеи —
мерцают в сумраке, и лишь с рассветом
забрезжили слова, вдруг став сонетом,
который посвящаю вам, обеим.

## Сонет

Улыбка. Ухо. Волосы блестят...
Живая? Да. Но к вещи тяготенье

Летит в глазах, и на мгновенье
Я вижу — бельмами источен взгляд.

Цветочной прели слышу аромат —
Так пахнет наша страсть. А, может, тленье?
Мертва? Но это белое движенье
Руки. И медленных волос распад.

Вот зашуршала в пальцах шоколадка.
Одно лишь знанье — сладко и несладко —
Смущает — да и то слегка — твою

Щель нежную. Но мы запишем — душу.
И я ничем покой твой не нарушу.
Пустыня. Камень. Мумия. Люблю.

Так с римской прямотой Катулла
швыряю клаузулу в лоб.
Продрав глаза, нагнулся, чтоб
поднять листы, упавшие со стула.

Иола, вот стихи, где до сих пор
мотив не поддается правке.
(Я приготовил рукопись к отправке,
чем выполняю давний уговор).

Но что стихи тебе? Без перевода.
Я в польском слаб. Ты в русском не сильней.

Оставь на вечер. Днем слова страшней,
изменчивей тебя, моя uroda *.

Шопен не ищет выгод, но виной,
наверно, он, что ты совсем другою
глядишься в пьесе, начатой строкою
«Кто там сказку затеял со мной?»

Кто там сказку затеял со мной?
В мой московский уют лубяной,
ледяные минуя заставы,
залетел воробей из Варшавы.
У паненки лукавят слова,
но запястье — предмет волшебства,
до смешного хрупок сосуд,
где хранится шопенов прелюд.
Это, Господи, промысел твой,
белокурой склонясь головой,
дарит давней свободы мгновенья.
До видзенья, летун, до видзенья!

Там, на Малой Грузинской, гнездо,
где птенцам ставят верхнее «до»,
а фа-соль на плите закипает,
и вахтерша едва не шмонает.
Общежития воздух тяжел.
Но сосед твой — бесхозый костел,

* uroda (польск.) — красота

как слепец — будет долго беречь
звуки встречи — музыку, речь.
Эта музыка — светлая рябь,
это слово, что дал мне арап,
жизнь спасают от униженья.
До видзенья, летун, до видзенья!

В шелестенье концертных афиш
на карнизы Европы слетишь,
и в комфорте казенного рая,
просыпаясь, пассажи гоняя,
мне оставь в подешевле ряду
место, зная, что я не приду.
Пусть фаланги станут грубей,
пусть ответит ладом «Стейнвей»,
пусть поземка зализет твой след.
Что мне счастье, которого нет?
Да и воли. И просто везенья.
До свиданья, летун. До видзенья.

Мне лень вставать, идти и ставить чай.
Опять февраль кружит нас по Садовой,
где каждый звук исполнен жизни новой
с поправкой «до видзенья» на «прощай».

А впрочем, что нам встретиться, Иола?
Чем ад не место? Всяко может быть.
Ты, как Франческа, будешь слезы лить,
я — выть белугой, как Паоло.

Посуше Арль. Ад — гиблый край.
Но, зная жесткую твою повадку
и рта черствеющую складку —
чуть приплатив, обменом въедешь в рай.

Играй, играй! Как ходят пальцы правой
в кошмарнейшем этюде Листа?
Болят? Все ли берется чисто?
Как публика? Цветы и «Браво!»?

Прервав письмо, мотался по делам.
И время не стояло. Снова вечер.
О чем шел разговор? Ах, да, о встрече.
Ад не устроит? Как тебе Бедлам?

Зови Москвой, Варшавой, хоть Майами —
оберткой эту жизнь не подсластишь.
И мне равно — Коломна ли, Париж,
российский бред везде пребудет с нами.

Об этом очень знает Вечный жид.
Но — человек. Солжет. Лишь вещь расскажет
и тайною печалью свяжет.
(Коль правдой не убьет, так освежит).

Смотря в окно, смотрящее на запад,
лопатками, затылком чуя Русь,
пишу я «Вещи». В них не то, что грусть,
но дым отечества. И дыма запах.

## Вещи

Я слышу жизнь вещей. Их голоса.
Их диалоги, смех, молчанье, ропот.
Щепа шумит — мордовские леса.
Скрип стула мелодичнее, чем Сопот.

Рапан иль как там? И немолчный рокот.
Атлантика — российская слеза.
Иных уж нет. А кто-то так далёко...
Нальем? И вещи голосуют «за».

На рюмке проба — год рожденья бабки.
Дом деревянный, хворост сладкий,
Ну а белья морозного прокатку
Проговорит доска, которой нет...
И пью, и слушаю. И, как облатку,
Кладу я под язык тебя, сонет.

*1979*

# Анапские строфы

Не мед, но пот — и по усам,
дурею от жары, не знаю сам
зачем я, заплутав, сижу здесь дотемна,
смущаю прах ваш, Евдокия Павловна,
зачем речь сбивчивая к вам обращена —

ряд или бред бессвязных сцен
эпохи социальных перемен,
хмелившей более, чем белое «Міцне»,
и стольких воробьев проведшей на мякине...
Лишь стреляный трезвел. Но дело не в вине.

А впрочем, может быть, и в нем.
Я пил с утра, потом в хинкальной днем,
но рядом — пляж и крик, вот и забрел сюда —
маяк, погост, обрыв — сижу, гляжу отсюда
на море, на закат, на дальние суда,

на камень ваш — он у обрыва
отчасти гордо, но и сиротливо
возносится среди оград, крестов болезных,
подкрашенных кой-где стараньями родных,
средь греческих разбитых плит, средь звезд железных.

И алюминиевый цвет
по кладбищу разбрасывает свет
довольно радостный. Фонарь, забор, верста —
все та же краска — памятник или ворота,
скамейка ли, киоск, могильная плита...

Что это? Равенства залог?
Уныние грешно, и, видит Бог,
я, Евдокия Павловна, бегу тоски,
но был мне скормлен этот цвет из детской соски
и он подкрасил кровь, судьбу, потом виски.

Вам трудно, видимо, понять,
нас разделяют ни «фита», ни «ять»,
ни годы, но... галактики. Жары дурман
сбивает с панталыку, и прочел я — Шуманъ,
в то время как на вашем камне — Шауманъ.

И видится подвижный немчик,
сменивший на сюртук кадетский френчик
и ручкой сделавший родне любвеобильной.
— В Россию? — О, майн гот! — Лишь с честностью одной?!
— Он движим бедностью... — И гордостью фамильной!

Оставив Лотхен куковать,
и, отыскав в Санкт-Петербурге мать
вашу — аль бабку, что верней — открыл салон
«Корсаж-плюмаж». Так что за дочь был счастья полон
ваш дед по матушке отец Авессалом.

— Мой милый Áвгустин, мой Ав-
густин, — певал он, толику приняв.
Коль дочек семеро, то что тянуть нуду —
сам и венчал по православному обряду,
призвав чету к любви, терпенью и труду.

Ну что за диво! Братья Гримм!
Ай, сказка, да еще поездка в Рим.
Неужто к россам был вельми свободный въезд?
На современный взгляд — фантастика. И выезд?!
Ваш прах свидетельствует перемену мест.

На камне золотятся строки —
пять-шесть высоки, две глубоки —
из Фофанова, Павловой. Стихи при этом
нам с горечью и грустью говорят о том,
что рано вы ушли, отбыв свой срок поэтом.

Сейчас, любительница муз,
анапский поэтический союз
навряд бы отпустил на монолит рубли,
как вас читатели бы в массе ни любили —
певицу строек и берез родной земли.

С рублями, Евдокия, нда...
Я сызмальства без них. И навсегда.
Привык. Но вам-то без привычки — просто швах.
Вот хорошо бы родственник какой во швабах —
глядь вспомнит и пришлет пяток ночных рубах.

Таков пейзаж и антураж.
Рубахи — мелочь. И кидаться в раж —
лишь Господа гневить. Считайте — повезло,
что есть на ЧТО надеть (то есть в наличье тело),
и можно, сжав персты, перекрестить чело.

Шалеет время. Кроме злобы
еще есть трус и водка. Ей особый
почет — течет, строив строителей державы,
где питие веселием считалось, но, увы,
теперь лишь тризной отдает. И кильки ржавы.

Простите, беспокою вас.
Воображенье, а скорее глаз,
напишет старую Анапу, городок,
который был, конечно же, на новость падок,
а новость — ваш приезд и кашель, и платок.

От Петербурга вдалеке
вы в белом платье, с зонтиком в руке,
предчувствуя тоску, у моря взаперти
кляня болезнь, свалившуюся так некстати,
совсем не думали свою здесь смерть найти.

Наоборот, куда острей
средь греческих фелюг, шаланд, сетей,
хожденья к маяку, прогулок на базар,
где Снайдерс бы поблек, а дыни лили сахар,
почувствовали вы вам свыше данный дар.

Итак, что ране вы писали?
Цитировать стихи возьмусь едва ли,
но думается, было: «не иссякли звуки»,
и жертвенность, и «мановение руки»,
кого-то призывающей «идти на муки».

И он пошел. Влюбленный в вас,
в признаниях своих он всякий раз
сбивался с темы, и... «Свобода... Идеал...»,
и сетовал на жизнь, на то, что мало сделал,
и вот пошел в народ. Но тот его не звал.

Был бит зело под Костромой
и в длинных письмах из тюрьмы домой
описывал свой новый быт и звал к борьбе,
а вам прислал стихи («строги́ не будьте к пробе»),
где ВАМ исправлено на жирное ТЕБЕ.

Той осенью вас представлял
широкой публике один журнал,
до дыр зачитанный им в ссылочной дыре.
Зимой с тоски покончил он с собой на Каре,
и вы, грустя, венчались в том же декабре.

Затем с супругом вы в Париже,
Карлсбад и дале Альпы — санки, лыжи —
весна в Венеции и лето в Палестине,
где крест, висевший на гостиничной стене,
вдруг натолкнул на мысль, осмеянную ныне.

Смех, впрочем, начался давно.
В век девятнадцатый так неумнó
науке предпочесть миф, обращенный в прах;
в двадцатом веке этот смех притих на нарах,
был «посильнее «Фауста» немотный страх.

На жизнь свой отоварив чек,
скудеет человек в научный век.
И впрямь — чего искать на рубль пятаки,
когда душа легко переместилась в пятки
и так покойно ей? Да будут сны легки!

Во всех обличьях хороша
загадочная русская душа —
палач или Пугач, лампасы пришлеца...
Где милосердия (да и была ль?) сестрица?
А злобе несть числа, и мести несть конца...

И открываю я напиток,
скорее приготовленный для пыток,
чем для торжественных и прочих возлияний
(глоток — желудок твой завоет, точно Вий) —
«Кавказ», «Агдам», «Долляр» — какой букет названий!

Курорт. Нет водки. Хлещешь дрянь.
А вы-то что пивали? Финьшампань?
На променаде, в Царском будучи Селе,
обедая, что принимали, в самом деле,
коль возвращались в Петербург навеселе?

Муж, славный малый, интендант,
пил водку, и блистал его талант
вышучивать накал передовых идей,
эмансипированных дам и нервных дядей —
прямых, как трости, новых, так сказать, людей.

Быть может, и смешны они,
но вы заметили, что ваши дни
заполнили их злость и жесты, и слова.
Не принимать? Порвать? Но как? Друзья. И снова
за чаепитьями болела голова.

Вы в кресле у окна скучали,
но вас ничуть друзья не замечали,
а разговор случись — сведется все к упрекам,
как школяру — линейкой по рукам,
за равнодушие к общественным порокам.

Летят года. Хандра. К тому ж
при ипподроме покупает муж
так, в общем, пустячок... Аптеку. Се ля ви.
На это милый тратит уйму сил и крови,
твердя, что лошадь стоит, как и Русь, любви.

Он одержим. Его проект:
им в компаньоны взят один субъект,
который только что покинул Новый Свет.
По типу тамошних — он в тонкостях все знает —
в аптеке ставятся столы а ля фуршет.

— Двойная выгода, ма шер,
пошаливают нервы, например —
в аптеку поспешит педант — пожалте, бром,
но игроки завзятые стоят на старом —
анисовая, расстегаи, старка, ром.

Муж, отдалившийся делами,
друзья да критика (та, между нами,
уверена: в Руси словесность лечит плетка) —
все это по весне на белизне платка
дало кровавую отметину — чахотка.

К концу идет напиток мой...
Уже смеркается. Пора домой.
Что ж, Евдокия Павловна, пора отсель.
А дом, где жили вы, дом капитанши Стессель,
стоит. Там за трояк снимаю я постель.

Теперь в нем несколько семей.
Хозяйкина племянница, ей-ей,
еще жива, и ей курорт дает навар.
Отнюдь не бедствует, она же мой шеф-повар
и ставит ввечеру старушка самовар.

Все в детстве остро и пестро.
Ей помнится: колышется перо
на модной шляпе бывшей фрейлины двора;
Киссиди, местный туз, гурман; торговцев свора;
помещик тульский Мнёв и вы, и доктора.

Тянулись дни не без печали,
но вас заметили и привечали.
В дворянском вечер был (афиша и билеты),
и вы прочли без позы и без суеты
свои любимые последние сонеты.

Открыв бювар, глядите вы
в окно, ослепшее от синевы,
где игры Бёклина мрачны, но и легки;
сквозь слезы — то ли утреннего моря блестки —
перебираете тюремные листки.

— Мой мальчик, бедный мой, прости
стихи мои тех лет и отпусти
грех суетливости произнесенных слов,
овации университетских залов,
тот рыцарский, скликающий на подвиг зов.

Давно и рано ты угас, —
вы говорите с ним, в который раз
ему или себе пытаясь объяснить —
что? Жизнь? Судьбу? Рыдаете, клянетесь помнить,
и мысль теряется, и разговора нить.

— Раз в месяц-два письмо бывает,
наш общий друг меня не забывает:
«...попалась на глаза в журнале ваша пьеса.
Все тот же темный миф, нелепость, чудеса...
В глазах передовых людей вы — враг прогресса».

Ну что ж, мне не о чем тужить.
Я независимо пыталась жить,
писать, не думая при этом ни о ком,
кто и куда меня зачислит ненароком...
Неужто и твоим я стала бы врагом?

Я фотографию твою
от мужа, словно грешница, таю,
но мною он любим — Господь его храни.
Тут плакал, как дитя, уткнувшись мне в колени.
Так вот... Я говорю бессвязно, извини.

Горяч наш общий друг весьма,
и злобой веет от его письма;
видна она в его речах, статьях — везде,
но разве ненависть подвигнет нас к свободе?
Свобода ненависти приведет к беде.

Скажи, как это получилось —
все вами отдано уму на милость,
но ум наш так лукав, жесток и хладнокровен!
Мы сердце жертвуем ему, но сердце не овен,
оно лишь ставит человека с Богом вровень.

Мне хуже. Потому боюсь,
что не успею — вот и тороплюсь
закончить несколько моих заветных пьес...
От мужа телеграмма — как он это вынес? —
аптека лопнула, а компаньон исчез.

О, Комендантский ипподром —
и шум, и крик, рукоплесканий гром!
Будь я мужчиной, думаю, наверняка
и мне б понадобилась, подвернись, аптека,
соседство праздника — азарт, игра, бега!

Осталось мне немного дней.
Не потому ль на жизнь смотрю жадней,
а жить мне стоит превеликого труда.
Спасибо Господу, хоть пишется покуда,
вот только слово — мучает, как никогда.

Что слово? Личный путь к свободе.
А что до отзвука в народе,
то, чем он явственней, тем в слове фальши
больше... А там уж и «все средства хороши
в стяжании свободы для Руси и дальше».

Бутыль пуста. Еще б глоток!
Простите, что прервал я монолог,
продолжив вашу речь в последних двух строках.
В безвременье всегда приходит мысль о сроках,
где ты, трубач, с трубою золотой в руках?

Пусть медленно она звучит,
волчица воет и петух кричит,
и смертный человек, сей глиняный сосуд,
глухонемого века молчаливый рекрут,
услышит звук, прозреет срок, увидит Суд.

Ужель при жизни повезет,
и я, рожденный в беломорканальский год,
в Отечестве своем и твердь, и честь найду,
и из души все бывшее навек избуду,
а там и в гроб в раскаянной земле сойду?

Ах, Евдокия, вы поверьте,
прекрасный год вы выбрали для смерти —
на рубеже веков, эпох — девятисотый.
Вы не увидите, как двинется Батый —
двадцатый век. Да с перышком, да косоротый...

Луна взошла. Горит неон.
Мерцают буквы — Эжени Коттон.
Из корпуса выходит санаторный люд,
в мужских объятьях мамы-одиночки тают,
и дети их под кипарисами снуют.

Прибоя нарастает звук,
и говор гальки — деревянный стук —
до дрожи холодит, и тут я нездоров,
когда летейских слышу музыку оркестров —
стук бирок на ногах — фанеру номеров.

Что до трубы, то здесь она
по вечерам отчетливо слышна —
плывет ее металл и стонет вдалеке,
клубится пыль на танцплощадке в парке,
и тяжко мне идти, хотя я налегке.

Гремят в акациях цикады,
гульба, любовь, вечерние наряды,
и средь толпы — забвенья, водки ли алкая —
с народом в ногу, иль почти, шагаю я...
И море Черное шумит, не умолкая.

*Москва, 1981-1983*

## Содержание

I

Мост ..... 5
Пиво-воды ..... 7
Иероним Босх ..... 9
Песня песка ..... 12
Останкино ..... 13
Станция «Пески» ..... 14
Живой покойник ..... 16
Весенний самоубийца ..... 18
Алкоголь ..... 19
Вот связь времен..... 21
Восток ..... 23
Дочь колдуна ..... 25
Тебе пишу ..... 27
Больница ..... 28
Хорал ..... 30
Открытка ..... 31
Ах, фразы глупого письма! ..... 32
Пирог прогресса ..... 34
Переложение псалма ..... 35
Окно ..... 37
Цвет белый ..... 39
Артистка ..... 40
Душа ..... 43
Зимнее утро ..... 44
Тщеты своей улыбчивый оскал..... 46

Любовь ..... 47
Снег ..... 48
Мне этот мир преподает урок..... 49
Брошенная деревня ..... 50
Я удостоен был вниманья палача ..... 51
Рождественская ночь ..... 53
Официантка общепита ..... 56
Преображение ..... 57
Стихи зимой в восьмидесятом ..... 58
Лебедь ..... 60
Тост ..... 61
Вслед мотыльку ..... 63

II
До востребования. *Стихи в письме* ..... 64
Анапские строфы ..... 72

© 1993 Александр Лайко

Александр Васильевич Лайко родился в Москве в 1938 году.

Серьезно к писательству стихов стал относиться [redacted] в литературной студии клуба «Факел», который возник в Москве в конце пятидесятых. Во времена «оттепели» эта литературная студия собрала писателей и поэтов, которые не могли печатать свои произведения по цензурным соображениям. Из участников «Факела» многие впоследствии стали известными литераторами — М. Агурский, Ю. Карабчиевский, Г. Сапгир, И. Холин...

Александр Лайко сближается с поэтами Генрихом Сапгиром и Игорем Холиным, учениками Е. Л. Кропивницкого, основателя «лианозовской школы» поэзии и живописи.

Будучи студентом первого курса Московского библиотечного института Александр Лайко принимает участие в первом съезде молодых писателей (1957).

Александр Лайко на родине мог публиковать только детские стихотворные книжки и переводы. Ни одной строки его «взрослых» стихов опубликовано не было.

С 1978 года печатается в русскоязычных эмигрантских журналах.

ISBN 5-86365-001-X